



АНДРЕЙ БИТОВ
НУЛЕВОЙ ТОМ

Андрей Георгиевич Битов Нулевой том (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8179286

Нулевой том: [роман, повести, рассказы, стихи] / Андрей Битов: АСТ; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-084192-9

Аннотация

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

Содержание

О нуле	6
Первая книга автора	8
Автобиография	8
Из цикла «Люди, которые...»	10
Люди, побрившиеся в субботу	10
Люди, которых я не знаю	11
Голубая кровь	13
Чужая собака	15
Собрание фрактов	15
Любители	17
Такие дела	18
Китайцы	19
Черный день	20
Кошей бессмертный	21
Родинка	23
Однокашники	24
Разводы	24
Пафли	25
Воспоминание	27
Из моей замечательной корзины	29
Моя замечательная корзина	29
Чернильница	29
Из цикла «Пипифакс»	31
1. Подводя итоги	31
2. Холостяк	31
3. Очень грустная история	31
4. Чересчур большая рыба	31
5. Триумф яйца	31
6. Несколько слов о Бетховене	32
7. Пять сотых	32
Из цикла «Пипифакт»	33
Теперь не то	33
Кто?..	33
Комиссары...	33
Хотя вождь умер...	33
Низкое давление	34
Пророчество	34
1 мая 1961 года	34
Внешняя политика	34
Пензенский почин	34
Армия	35
Вот в чем все дело	35
Знай свой город	35
Прикладное искусство	35
А что нового появилось в одежде мужчин?	35
Растет импорт	35

За рубежом	35
Из цикла «Подлинник»	37
1. Фенолог	37
2. Активист	37
3. Истица	38
4. В мире мудрых мыслей	39
5. Игра на вечере	40
6. Анкетный лист	40
7. Неожиданный отзыв	43
Из цикла «Личный архив»	44
1. Музыка революции	44
2. Не все удержалось в детской памяти	45
3. Гранит науки	47
4. Проблемы рода	48
5. Для биографии на суперобложке	48
6. Литература и производство (1959–1962)	49
Мое сегодня,	51
Лес, дорога	51
Чик-чирик	51
Без Б (бе)	53
Из первого сборника автора	56
Бабушкина пиала	56
Фиг	60
Солнце	64
Пятница, вечер	66
Жены нет дома	70
Юбилей	75
Чай	81
Первое путешествие	83
Ворота Азии	83
Начало	83
С чем я еду?	84
Еще три начала	84
Еще одни ворота	86
Записки чревоугодника	88
Как я наелся	88
Базария	90
Плов, Ленинград	92
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Андрей Битов

Нулевой том (сборник)

© Битов А.Г.

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

* * *

О нуле (Рождение жанра)

Ноль (нуль) гипнотизирует своей замкнутостью. Замкнутая прямая. Но не круг. Круг – но сплюснен. Но не как Земля и не как яйцо. «С нуля» – это не *Ab ovo*, не основание жизни. Может быть, ее граница?

«О – цифра или буква?» – задал мне загадку однажды один персонаж. Не только не разгадать, но и не произнести вслух этот вопрос без выразительного жеста типа о-кей. В исходном, латинском нуле было даже два О, что и породило наше У (как слышится, так и пишется).

Впрочем, одиночество пишется через три О.

Ноль остался цифрой, нуль превратился в понятие.

Удивительно, но факт: 0 как цифра был открыт позже единицы. Это был скачок в сознании больший, чем только математический. Разделите 0 вертикальной чертой, как кофейное зерно. В правой дольке расположите знак +, в левой знак —. Как добро и зло. Справа от нуля окажется +1, слева –1, и счет положительных и отрицательных чисел в любую сторону, до бесконечности, пока не надоест. Вот вам и свобода выбора: математическое равенство двух. Вот вам и выбор направления: либо ад, либо рай, чего хочешь выбирай, как в детской считалке.

Перекрутите ноль и получите 8, еще одну замкнутую цифру. Все знают, что 666 – число зверя, но не все знают, что 888 число Иисуса.

Повалите восьмерку набок и получите бесконечность.

Ноль – это даже не начало, начало – все-таки единица. Солдатик... поделите его на ноль, получите армию.

Помножьте любое число на ноль – получите ноль, поделите – получите бесконечность. «Деление на единицу есть реальность».

На этом мои познания в математике заканчиваются (ни слова о «ленте Мёбиуса»!).

Неопределенность!

Ноль может оказаться больше или меньше, вот в чем дело.

Ноль в начертании толще всех цифр, а в нем ничего нет.

«Неопределенно...» – сказал артиллерист Лев Толстой, проглядывая чью-то рукопись.

Ноль – это еще и обозначение другого (иной раз нового) уровня. Высший уровень – это предел реализации в настоящем времени.

Между завышенной и заниженной оценкой того, что делаешь, приходишь до нуля.

Рассуждая о нуле, нельзя не дойти до точки. Прочерчивая линию, ты начинаешь с точки и кончаешь ею. В замкнутой кривой все точки сливаются, растворяются и исчезают.

Точка не имеет измерения, а нуль – существования.

Грубо говоря, ноль – это толстая точка, в которой проковыряли дырку.

Но если проткнуть исторический нуль, образовавшийся в 1917-м, то выдох страны в 1956-м произошел с таким свистом, что слышен до сих пор.

Ноль оказался превосходной точкой отсчета. После него ты единица, можно сказать, единственный, даже первый. Кто бы осмелился иначе начинать с начала??

В плюсе оказалось все, что было до 1917-го, в минусе – все, что после, вся официальная литература с ее соцреализмом и продажностью. Легко было перешагнуть запуганное поколение отцов, потому что вся достойная его часть погибла. Образцы не подавляли не потому, что их не было, а потому, что их не ведали. Легко стало изобретать что велосипед,

что порох, что интегральное исчисление, не ведая, что это всего лишь сборник упражнений по *не пройденному*.

«Никелированный нуль отсчета» – поразил меня этот геодезический термин в 1956 году! Я еще ничего не писал, обнаружив этот никелированный нуль на круглой шкале теодолита, но уже улыбнулся, отразившись в нем. Позже я разглядел судьбу всего своего поколения в этом отражении. Отполированный нуль.

Ни тебе Достоевского, ни тебе Серебряного века, ни тебе Есенина, ни Джека Лондона, ни Зощенко, ни Платонова, ни даже «Двенадцати стульев», то есть никакой достойной после-революционной литературы. К счастью, и разрешенной советской литературы я не читал из принципа.

Благодаря тому, что Маяковский был утвержден Вождем, по первому тому собрания сочинений ВВ мы получали все свое представление о футуризме, благодаря гонению на Ахматову и возвращению Вертинского – все о Серебряном веке.

Все одновременно читали *одну* книгу. В буквальном смысле слова.

Зато классику я читал запоем, не столько упражняя слух и вкус, сколько насыщая современными смыслами. Контраст был вопиющ. Создавая из русских классиков своего рода политбюро, власть сама воспитывала антисоветское поколение.

К счастью, у дядюшки была хорошая библиотека, и он разрешил мне ею пользоваться. Любимым писателем оказался полузапрещенный (как и Достоевский) Джек Лондон.

Романтика совпала с пубертатом.

Читатель во мне стал перерождаться в писателя, по-видимому, в 1954 году, когда, готовясь к выпускным экзаменам в школе, я с таким вдохновением читал первый роман Диккенса «Пиквикский клуб», будто сам его написал. В том же году вышли «Бедные люди»: будто Достоевский снова начинал как молодой писатель, с первой повести.

Я покинул лермонтовский возраст в 1963 году. После «Записок из-за угла».

От нуля я дошел до точки.

Это мой «лермонтовский» том.

Автор предоставляет своему последовательному читателю право определить место этому тому: либо согласиться с авторским произволом и таким образом отделить «Империю» от позднейших сочинений, либо поставить «Нулевой том» впереди «Империи», либо после всего собрания, чтобы измерить, с чего все начиналось. Автор допускает, что кому-то эта книга может даже больше понравиться, чем его остальные: все-таки автор был помоложе, посвежей, посветлей, попроще, ближе к нулю – то есть, *попервее*.

Первая книга автора Аптекарский проспект, 6

Автобиография

Это теперь я утверждаю, что родился в Ленинграде в том самом тридцать седьмом, в потомственной петербургской семье, что первое мое воспоминание – блокада, затем сталинская школа и первое прозрение в пятьдесят шестом – дитя «оттепели».

С одной стороны – все это факты, с другой – ничего похожего.

Жизнь и память – различного состава, тем более, когда память склеротически подменяется оценкой.

Значит, так. Я, по-видимому, родился, раз я есть до сих пор, но когда и где – ни малейшего представления. Родители мои появились позже меня, и то поначалу довольно смутно и изредка, и лишь потом, уже в школе, возникли в обязательном порядке. Детство как детство, после войны – уже лафа (что-то вроде кайфа в переводе на язык современности). Помню, по лестнице древнего профессора Вишнякова, богача (золотые зубы) и вредителя (звал нас бандитами за наши веселые послевоенные забавы); помню, улица вся в траурных флагах, я ему говорю: «Калинин умер», а он мне: «Туда ему и дорога – козел» (это сейчас у меня здесь, по смыслу, тире, а тогда была запятая). Помню лесозащитные желуди собирали, а я екатерининский пятак вырыл – целую пятилетку после этого монетки собирал, не мог остановиться. Помню, мне уже лет четырнадцать стало, лежу на пляже, рядом со мной незнакомый старший парень бицепсами поигрывает, а я смотрю с завистью: «Что, нравится?» – спрашивает он. «Нравится». – «Хочешь такие же?» – «Хочу». – «Тогда бегай». Я последовал его совету и еще одну пятилетку пробегал (знал бы я, что занимаюсь «боди-бил-дингом»...). Больших успехов достиг: на одной руке стоял, шпагат (почему-то женский) делал, мостик (зубами платок с полу подымал), – и вот выхожу я в таком виде, шея шире плеч, осенью пятьдесят шестого из кинотеатра «Великан», где внезапно показали «Дорогу» Феллини, – совершенно потрясенный, не зная, куда всю эту силу деть, а мне навстречу мой сокурсник Яша Виньковецкий. Никогда не забуду его взгляд, когда я ему про искусство Феллини стал рассказывать! Никакие мои последующие свершения не вызывали ни у кого такого же удивления. Так сильно он меня уважал за мою бездумную силу, что мысли в моей голове не допускал. Потрясенный моей неполной дебилностью, решил он продемонстрировать ее своим друзьям по литературному объединению нашего Горного института.

Так все и началось – скоро семь пятилеток этому нездоровому увлечению.

Чтобы задержаться среди наконец обретенных друзей, вынужден я был писать стихи, так что переход на прозу два года спустя вызвал у меня вздох облегчения.

Рассказы писать проще, чем стихи, вот что я обнаружил!

Тогда еще никого не печатали, и мы публиковались, читая друг другу вслух. Одно дело читать вслух стихи, другое – прозу. Я боялся вызвать скуку, вот отчего эти рассказы такие короткие.

Короткие они еще и потому, что единственный живой гений в прозе тех лет, соответственно и кумир, был Виктор Голявкин. Как он божественно краток!

Я и сейчас полагаю, что Голявкин – гений, и лишь извечная московская несправедливость к Ленинграду привела к тому, что это сегодня не всем известно.

Я писал короткие рассказы сотнями, пытаюсь постичь его тайну, пока с огорчением не постиг, что гений – и есть тайна. С тех пор я пишу длиннее, предав забвению ранние опыты.

Каково же было мое удивление, когда двадцать лет спустя некоторые из этих рассказиков стали появляться в эмигрантской прессе. Их вывезли друзья моей юности, в том числе и Яша Виньковецкий захватил как воспоминание детства.

Этот факт заставил меня тогда же, в 1980 году, перетрясти свой архив и извлечь этот невыдуманный ворох. Преследование возрастало вместе с манией, и, опасаясь беспорядочности посмертных публикаций, отложил я четверть вот в эту подборку, чтобы в нее не затесались рассказы еще более случайные.

Вроде я не умер, но возможности перемещений и публикаций, возникшие для меня в связи с перестройкой и гласностью, парадоксально совпадают с посмертием, этакая «жизнь после жизни».

Яша же Виньковецкий не стал жить после жизни, своей волею оборвав такую возможность. Он ничего этого не знает, про гласность и перестройку.

Светлой его памяти посвящаю я эту посмертную публикацию.

Из цикла «Люди, которые...»

*Точка. Точка. Запятая.
Минус. Рожьца кривая.
Ручки. Ножки. Огуречик.
Вот и вышел человек.*

Присказка

Люди, побрившиеся в субботу

Рано утром.

Мужчины, побрившиеся в субботу, ждали троллейбус. Над женщинами торчали зонтики. От дождя у мужчин поднялись воротники, а по спинам скатывались серые капли. Шляпы уныло опустили крылья. Передо мной стояли спины с опущенными руками, и на спинах был понедельник.

Подошел троллейбус. Он должен был перевезти этих людей окончательно из воскресенья в понедельник. На лице у троллейбуса была тупость работающего без воскресений. Один за другим пропадали в нем шляпы с опущенными крыльями и женщины вперед зонтиками.

Двери захлопнулись и выдавили меня внутрь. Я уперся носом в одну из спин, стоявшую на ступеньку выше. Она пахла сыростью. Над спиной была шляпа, и с нее стало капать мне на нос. Я постучался в спину и сказал:

– Гражданин, у меня нет зонтика, чтобы спрятаться от вашей шляпы.

Под шляпой оказалось молодое лицо, на котором еще сохранилось воскресенье. Оно улыбнулось:

– Извините.

Молодой человек снял шляпу и аккуратно вылил воду из тульи. Вода попала в туфлю рядом стоящей женщины.

– Не умеете обращаться со шляпой, так не носите! – возмутилась она.

Молодой человек смутился и стряхнул на меня оставшиеся капли.

«В субботу была баня...» – подумалось мне.

Ехать было далеко, за окном был дождь и туман, и я стал смотреть на лица. На них был тоже понедельник, такой же, как на спинах. Приглядевшись, я открыл и несколько другие лица.

Оживленно делились чем-то две девушки, рассеянно и глупо рассмеялся сам по себе сосед – на их лицах доживало воскресенье. Про некоторых можно было сказать, что у них на лицах была суббота, а воскресенье было отдыхом от субботы.

Понедельники ни на кого не смотрели.

Воскресенья смотрели, но не очень видели, словно издали.

И лишь субботы, казалось, видели и понимали происходящее.

На одной из остановок в троллейбусе появилась старушка. На лице ее не сохранилось никаких дней недели, а был какой-то общий, длинный и последний день. И было странно, зачем она сюда попала. Она вошла с передней площадки, прижимая стул к груди. Стульчик был маленький, детский, но у него было уже четыре ножки. Они воткнулись в ноги, и пошел шум, суতোлка. Кричали в основном понедельники. Кричали о том, что неприлично лезть со стулом в троллейбус, что со стульями надо в трамвае, что вообще с мебелью надо

в грузотакси, что и так сесть негде, а она со стулом, что и так все едут на работу. Старушка испуганно обнимала стул и беззвучно жевала жалкие слова.

Она вышла, а в троллейбусе, до нее молчаливом, сохранился гул. Рядом со мной что-то говорили, что чего-то стало вовсе не достать, а что-то стоит невозможно дорого, что в детском саду дурные воспитатели и что еще надо кормить мать... А кто-то обругал кондуктора в том смысле, что безобразие, что по утрам, когда всем ехать на работу, так долго нет машины; мол, зачем она открывает двери всяким со стульями и что еще не хватает, чтобы влезли со столом. А кондуктор говорил, что не она открывает двери и составляет график, что она на работе и чтоб к ней не лезли всякие.

Потом случилась женщина: подъезжая, мы забрызгали ей чулки. Она этого так не оставила и записала номер кондуктора.

Вошел пьяный, в лице которого была ночь с воскресенья на понедельник. А кондукторша, у которой еще и вовсе не было воскресенья, стала требовать с него за проезд. А он, катая голову по плечам, просил ее не беспокоиться. А она стояла над ним и требовала, потому что у нее еще будет воскресенье, когда она ни с кого не будет требовать.

И кондукторша наконец стала на него кричать, что все они такие, что пропьют все на свете, а женщины маются, что сегодня на работу, а он, видите, с утра пораньше.

На лице пьяного смешались все недели, и он что-то бормотал про то, что он хороший рабочий и что ничего в том плохого, что рабочий человек один раз выпьет. И, наконец поняв, что требует от него эта женщина, стал бессмысленно рыться в карманах, засовывая в них руки чуть не по локоть. Но устал.

– Опять плати... Жи-и-изнь... – протянул он и приткнул свою вращающуюся голову на плечо соседке. Та брезгливо стряхнула голову с плеча и встала. Он свалился на сиденье и уснул окончательно.

«В субботу тоже была выпивка... после бани», – подумалось мне.

Скучным голосом объявил кондуктор мою остановку. Это была конечная остановка. И люди, вымывшиеся и побрившиеся в субботу, ошестинив воротники и зонтики, вышли из машины.

Я присоединился к толпе спин и, с общим потоком, попал в стремнину заводских ворот.

Октябрь, 1958

Люди, которых я не знаю

Тихая у нас улица... Совсем рядом гудит туго натянутая магистраль: автобусы, люди, люди, машины. А здесь – тихо. Речка без набережной. Мост деревянный. А все остальное – сад. И мой дом. Очень спокойный дом. Все окна у него разной формы, и это мне особенно нравится. Проходя мимо дома, мне всегда хочется пожить в угловой мансарде.

Мои окна выходят во двор.

Если пройти по лестнице, то почти на каждой двери будет медная дощечка – профессор такой-то. Очень много профессоров по нашей лестнице. Тихие старики.

Внизу магазин – тоже очень тихий. Покупателей мало, и все друг друга знают. Вот кассирша – она тоже живет по нашей лестнице.

На скамеечке у входа в магазин согнувшись сидит женщина. Тихо, очень неподвижно сидит эта женщина. Пятнадцать лет сидит она на этой скамеечке. Сначала молодая – худенькая, в нарядном ситчике, с короткими прямыми волосами. Она сидела на этой скамеечке в любую погоду. Иногда к ней подсаживались дворники, и иногда она исчезала куда-то.

У нее странный взгляд – кажется, никто не попадает в него.

Иногда она смеется. Такая у нее сипотца.

Может, она и не всегда сидела на этой скамейке.

Она сидела и сидела – и день, и два, и год, и другой, и потом еще год, а я, как-то странно, замечал ее только вдруг. Однажды я вдруг заметил, что она очень похудела. Потом очень поседела – тоже вдруг. Потом она надела коричневое мужское пальто. Теперь она всегда сидит в этом пальто.

Внезапно согнулась ее спина.

И вся она, сжавшись, сидит сейчас на скамейке.

Я прошел в магазин. За прилавком девочка – это новенькая. Милая. Второй раз я захожу в магазин, и она за прилавком. Смущается, когда я подхожу к ней с чеком.

Очень миленькая девочка. Да-а-а...

Тихая у нас улица.

Когда я выходил из магазина, туда прошел тоже странный человек. Он живет напротив. Он всегда в шляпе и с портфелем. Мы часто едем вместе в автобусе. Все кондуктора его знают. Встречаясь со мной, он говорит:

– Приятно видеть молодость! При этом,

Лишь только посмотрю, я становлюсь поэтом.

Впервые я столкнулся с ним на автобусной остановке.

Я направлялся в ателье, и у меня на руке повисло пальто. Впереди стоял человек с портфелем и в шляпе. Несколько раз он оборачивался и с интересом посматривал на меня.

– Почему на вас второе пальто? – спросил он наконец.

– Это мое пальто, – сказал я.

– Я увидел на вас второе пальто. И сразу подумал: здесь что-то не то...

– В чем дело?! – сказал я.

– Дело в том, что нынче лето...

А вы, что, не слышали об этом?

В очереди смеялись.

– На мне первое, – сказал я. – Не приставайте.

– Зачем ко мне вы, юноша, придрались?

Вы, может быть, в Америку собрались?

Мы поговорили.

– Родные все зовут меня поэтом,

А я не чувствую себя при этом, – сообщил он мне.

И звал к себе.

Вот он-то и прошел в магазин, когда я вышел.

Интересно, что он еще может мне сказать?

Я вспомнил, что могу еще купить сигарет, и вернулся за ними в магазин. Девочка за прилавком снова смутилась. Я встал в очередь за человечком с портфелем. Тут в магазин прошла девушка со стеклянным глазом. Она тоже из нашего дома. Она всегда старается быть нарядной. Она встала за мной. Бабы в очереди посмотрели на нее и зашушукались.

С этой девушкой я знаком немного. Вернее, я был знаком с ее подругой, и они пришли однажды вместе в нашу компанию. В тот вечер все разбрелись парами по комнатам, а она сидела одна в гостиной, и ее стеклянный глаз удивлялся.

Теперь я иногда вижу ее сидящей на скамейке около магазина.

Худенькая, с короткими прямыми волосами, в веселом ситчике, сидит она рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.

Девушка встала за мной, и я поздоровался с нею.

Девочка за прилавком странно на меня посмотрела.

Бабы в очереди зашикали:

– И не стыдно!.. Прямо в очереди!..

– Что вы?.. Что вы! – отмахнулась девушка в веселом ситчике. – Это просто знакомый.

– Пачку сигарет! – крикнул я на девочку за прилавком.
– Когда я вижу юности приметы,
Тогда невольно становлюсь поэтом, – сказал человечек с портфелем.
– При этом, при этом! – рассердился я.
И выскочил из магазина. С удовольствием вдохнул воздух и закурил.
Подошла толстая дворничиха. Поставила около скамейки метлу, бросила совок. Села рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.
– Что это ты, Машка, грустная такая? – засмеялась она. – Вон, смотри, молодой человек, – кивнула она на меня.
Женщина сидела, положив локти на колени, а голову на ладони, смотрела вперед, и ничего не попадало в ее взгляд.
– Что ж ты молчишь! – толкнула ее дворничиха.
Женщина деревянно покачнулась и завалилась набок, нелепо задрав стоптанные башмаки.
– А-а-а-а! – закричала дворничиха. – Машка! Машка! Дядя Миша! Дядя Миша!
Из сапожной будки вылез дядя Миша, квартальный милиционер, степенный и усатый. За ним вылез ассириец, усатый и степенный.
Из магазина высыпали бабы.
– Жалость-то какая... – сказал кто-то из них.
– Тетя Маша! Тетя Маша! – закричала девушка в веселом ситчике.
– Уснуть... И видеть сны, – сказал человечек с портфелем.
– Да-а... – сказал дядя Миша и стал звонить по телефону.

Сентябрь, 1959

Голубая кровь

«Интересный дядя! – подумал я. – Керенский-Врангель-Коненков...»
Интересный дядя стоял в подворотне.
Седые усы серебряными ложками изгибались по щекам. Трость. Корректное пальто. Выдержанное, достойное лицо.
«Джентльмен. Аристократ. Комильфо».
Я смотрел на него вежливо и с интересом, стараясь, чтоб не вышло нагло. И в это время входил в подворотню.
Он тоже смотрел на меня.
«Чувствует породу... – думал я. – Теперь ее мало. Приятно увидеть ее в молодом. Так настоящая женщина чувствует настоящую женщину».
Я разделился, забежал на место дяди и посмотрел на себя, входящего в подворотню...
«Так себе. Ничего. Просто прелесть!»
Дядя сделал сдержанные полшага в мою сторону. Два пальца сжали поля шляпы. Легкий поклон.
– Извините, пожалуйста... – говорит он поставленным голосом.
– Нет, что вы, что вы... – говорю я и тоже кланяюсь. Только шапка у меня меховая и полей нет... Я делаю полшага в сторону, чтобы обойти дядю.
Дядя делает полшага ко мне:
– Извините, пожалуйста...
– Пожалуйста-пожалуйста... – говорю я.
И стараюсь протиснуться между дядей и стенкой.
Дядя прижимает меня к стенке:
– Вы не скажете, где квартира такая-то?

– Ах... – говорю я. – Я из этой квартиры. Пойдемте со мной.

– Там живет профессор Роттенбург?

– Я его племянник.

– Ах, вот как... – говорит старик. – Значит, он ваш дядя? Очень рад.

Мыжимаем руки. И идем вместе.

– А как здоровье вашего дяди?

– Ничего, – говорю я, – хорошо здоровье. Недавно, было, заболел, но все в порядке.

– Так что ваш дядя в пор... то есть здоров?

– В совершенном порядке.

– Так вы говорите, он сейчас дома?

– Он всегда в это время дома, – говорю я.

– Приятно видеть такого молодого человека, как вы. Ах, теперь не та молодежь...

Я потупляюсь. Только скромность не позволяет мне согласиться. Он должен оценить это.

– Опять лифт не работает, – говорю я.

– А какой этаж?

– Пятый.

– Ох, – говорит дядя, – чего же он не работает?

– Разве ж теперь обслуживают?.. – скорбно замечаю я.

Дядя светски раздвигает усы в улыбку.

Мы поднимаемся рядом. На площадках я пропускаю дядю вперед. Ему тяжело. Усы шевелятся по щекам.

– Извините, – говорит он и передыхает. На лице у него достоинство и виноватость. Он пыхтит.

– Ничего, я не спешу, – говорю я.

«Славный, красивый старик, – думаю. – Таких теперь уже мало. Старой закваски».

– А вы чем занимаетесь? Работаете или учитесь? – спрашивает дядя. – Если, конечно, вы ничего не имеете против такого вопроса.

– Нет, что вы, – говорю я, – учусь.

– Это замечательно, это хорошо, это изумительно – учиться, – говорит старик. – Ваш дядя – прекрасный пример. Наука требует от человека всей его жизни...

Он смотрит с испугом на оставшиеся ступеньки. Наконец пересиливает себя:

– Ну, пойдете дальше...

Улыбается он так легко и плавно, мол, вы уж извините, что я старик, мол, старость не радость...

– Вот и наша площадка, – успокаиваю я старика. – Вот мы и пришли.

Я чуть задеваю дядю.

– Ах, извините, – говорю я.

– Нет, что вы, что вы, пожалуйста...

Мы стоим у двери. Смотрим друг на друга.

– Нет, вы меня извините, ради бога, пожалуйста... – Я краснею.

– Да ну что вы! – отмахивается дядя.

Я стою у двери и не могу пошевелиться:

– Да нет, я правда очень виноват... извините, пожалуйста... я совсем забыл... простите, ради бога... так получилось... я не хотел...

Дядя расширяет глаза, и его усы выгибают пушистые седые спинки.

– Что вы, право?

– Я совсем забыл... дядя улетел вчера в Кисловодск...

Некоторое время мы смотрели друг на друга.

На дядином лице боролась корректность.
Корректность победила:
– Что ж вы сразу не сказали...
Тучная спина заколыхалась вниз по ступенькам.
«Ничего, – успокаивал я себя, – ничего. Усы, как у швейцара».

8 февраля, 1960

Чужая собака

На работе объявили выговор. Соседи объявили бойкот. Жена сбежала с другом детства. Я, конечно, могу сходить к тетке, погулять с ее собакой... У нее, у собаки, сегодня день рождения. Тетка приготовит торт.

Этот молодой жирный боксер, я ничего не имею против. Сильный зверюга. Он идет, виляя обрубок хвоста, натягивая поводок. Все время приходится тормозить, словно бежишь под горку. Морда у него, с точки зрения обывателя, малосимпатичная. По-моему, это красивое животное.

А я надеваю темные очки от солнца и веду его, желтенького, песочного, по Невскому.

А про него говорят:

– У-у-у! Черчилль... чертяка! Мизантроп этакий...

А про меня говорят:

– А хозяин-то... Еще очки надел!

А одна говорит:

– Бедный... Такой молодой – и уже слепой!

А один другому говорит:

– С-суки! Жизнь-то у них какая!.. Нам бы такую...

А мальчик кричит:

– Хочу собачку! Хочу-у-у!

А один говорит:

– Почему собака без намордника?!

А я думаю: «На тебя бы намордник...» А я иду по улице в темных очках, с боксером... И у меня к нему симпатия. Да он бы и не обратил внимания на этого типа! Он вообще ни на кого не обращает внимания. Наверно, у него свой, собачий мир, и он меня туда не пускает. Я его уважаю за это. Мы бы с ним нашли общий язык. Но мой мир его не интересуется. Умный, зверюга! Лоб мыслителя. А глаза? Чтобы у всех людей – такие глаза!

Люди зыркают на него – на меня, на меня – на него. А он ни глазом, ни ухом – все тянет и тянет меня вперед. Сосредоточенность и целеустремленность во всем. Он явно идет куда-то. Наверно, ему стыдно показать, что он идет просто так...

И я, тоже вот, – гуляю с собакой...

У нее сегодня день рождения. Тетка приготовит торт...

А еще я могу – не пойти к тетке...

9 февраля, 1960

Собрание фраков

После речи дедушки Во, ровно в 12, звякнули шампанским.
Был роскошный стол.